

Утро. Окна нашего деревенского дома выходят на восток. Длинные золотистые лучи пронизывают тюль занавесок, солнце играет на полу, на домотканых половиках в рубчик.

Мне семь или восемь лет, я просыпаюсь, и первое, что вижу, — большой портрет в простенке между окнами. Юноша с чистым лицом, высоким лбом — густые русые волосы зачёсаны назад. Пристальный взгляд серых глаз, пухлые губы сложились в полуулыбку, воротничок рубашки расстегнут. . .

Этой мой родной дядя, брат отца Иосиф Никитович Харламов. Он погиб в Сталинграде. Сердце болезненно сжимается — будто я в чём-то виновата! Я стараюсь не смотреть на красивый чёрно-белый портрет, увеличенный с довоенного фото.

Сходное чувство неловкости, смешанное с благоговейным страхом, я испытываю и когда мельком взглядываю на икону. Рядом, в святом углу, за набожником с яркой вышивкой, Богородица с младенцем на руках. В лице её — что-то таинственное и укоризненно-прощающее. Икона за стеклом, рядом — искусственные розы и бутоны. Со свадеб. Всех, кто участвовал в празднике, одаривали цветками — их прикрепляли на лацкан пиджака или у выреза платья. Грех выбрасывать такую красоту: после свадеб мама помещала украшения в божницу.

Семья Харламовых отправила на фронт четырех сыновей — Григория, Леонтия, Иосифа и Андрея (это мой отец, он самый младший, воевал на Дальнем Востоке). Два брата не вернулись — Иосиф пропал без вести в 1942, Григорий — в 1943. Дед Микитон (деревенское прозвище, произведенное от «Никиты») сильно горевал по сыновьям, но особенно — по Иосифу, который не успел жениться до войны, не оставил, в отличие, от Григория, детей. Дед написал Сталину, попросил пенсию за убитого кормильца — неженатого сына.

Пенсию деду назначили. А вот время и место гибели младшего лейтенанта Харламова так и оставались неизвестными. Последнее письмо пришло из-под Сталинграда, вместе с аттестатом об окончании Орловского финансового техникума. Иосиф получил образование до войны, потом был призван в армию. Офицерская карьера его совершенно не прельщала, после победы он мечтал работать по специальности. И он выслал диплом домой, чтобы «корочки» не потерялись.

Отец называл Иосифа героем. Он очень тосковал по нему, поскольку тот был ближе всего ему по возрасту. Отец рассказывал, что в Сталинграде есть памятная книга, в которую занесён Иосиф, что в зале на Мамаевом кургане, где горит Вечный огонь, на гранитных плитах высечена наша фамилия, и что, наконец, один писатель «всё рассказал, как было» и даже описал смерть младшего лейтенанта Харламова. . .

Этим речам я не очень верила: никто из моих родных не бывал в Волгограде (в 1961 году Сталинград переименовали), откуда им знать про гранитные плиты и памятные книги?! Да и мало ли что сочинят писатели?!

Сталинград — болезненная заноза в сердце. Моё воображение не способно было вместить сотни тысяч погибших — чьих-то сыновей, братьев, отцов. . . Боль от потери юноши-дяди, которого я видела только на фотографии, была слишком

сильной. Я ещё не стала хладнокровной, не научилась воспринимать войну как «события», «прошлое» или «кино»...

* * *

Книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» я прочитала в перестроечные годы. В «железном занавесе», ограждающем Советский Союз от чуждых идеологических и мировоззренческих влияний, уже появились изрядные бреши — в рамках компании «гласности». Активно печатались книги диссидентов, «антисоветчиков», эмигрантов; нарасхват шла «запретная литература», а также написанное «в стол», без надежд на прижизненную публикацию.

Повесть «В окопах Сталинграда» впервые вышла в журнале «Знамя» в нескольких номерах за 1946 год (первоначальное название — «Сталинград»). К 1974 году она была издана 120 раз на 30 языках. Оглушительный успех! Счастливая судьба книги связана с именем Сталина — он собственноручно вписал название повести в наградной список, и в один из летних дней 1947 года автор-дебютант, капитан-фронтовик Некрасов проснулся знаменитым. И богатым: Сталинская премия II степени — это почёт, слава, новые издания и 50 тысяч рублей в придачу!

Но кроме признания Генералиссимуса, был ещё и читательский успех. Мастерство автора поразительно: несколько фраз, предложений, и вот уже окружающая реальность исчезает, и ты оказываешься в окопах Сталинграда, переживая те же чувства — боль, радость, сострадание, — что и защитники волжской твердыни. Книга, написанная от лица лейтенанта-сапера Керженцева, читалась на одном дыхании. Повесть будто родилась без участия писателя — в ней незаметно никаких «творческих мук», «швов», кажется, что рукопись «продиктована свыше», что она — счастливый подарок автору, выжившему в кровавой мясорубке самой грандиозной битвы XX века.

Но в 1976 году книги Виктора Некрасова официально запрещены приказом Главлита — советской цензуры. Причина — отъезд в 1974 году писателя за рубеж и его деятельность там, «несовместимая с высоким званием гражданина СССР». Некрасова лишили советского гражданства. Он стал диссидентом, «писателем-отщепенцем».

Читая «В окопах Сталинграда», я, разумеется, пыталась понять, что же в этой повести опасного, антисоветского?

И — ничего не находила. Вот цитата:

«— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевают или нет?»

Честно говоря, повесть «В окопах Сталинграда» даже как-то «выпадала» из всей перестроечной литературы — вот этим сочувствием Верховному главноко-

мандующему. Потому что доминирующее направление общественной мысли во времена перестройки и гласности было таким: Сталин — тиран, диктатор, чуть ли не единолично ответственный за все беды, произошедшие в его правление. Он репрессировал тьму народа (назывались фантастические цифры — тридцать, сорок миллионов!), забросал немцев трупами (раздавались даже голоса — а не лучше было бы, если бы нас победил Гитлер?), он душил литературу и искусства (вот и присуждение премии Некрасову — это необъяснимый каприз «кровоавого карлика»). В пропагандистской оголтелости уже отчётливо проступали не поиск истины или боль за невинно умученных, а «упоеание в бою», сведение личных счётов и пинание мёртвого льва, что, как известно, может сделать любой осёл.

А что же Некрасов? Писатель умер 3 сентября 1987 года во Франции на семьдесят седьмом году жизни. Распад СССР, войны на окраинах империи, отъем денежных накоплений у населения, русские беженцы из национальных республик — всё это было после его смерти. До расстрела Верховного Совета, которому так радовался один из друзей писателя, Булат Окуджава, Некрасов не дожил шесть лет...

* * *

Жадно читая в перестроечные времена «В окопах Сталинграда» (запретный плод сладок!), я действительно обнаружила среди действующих лиц младшего лейтенанта Харламова. Жаль, что в повести он ни разу не назван по имени. Керженцев слегка досадует на Харламова — он не отличался молодцеватостью: «Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего». Военная служба давалась младшему лейтенанту тяжело: «На кухне ему, а не в штабе работать». Но когда капитан Абросимов отдает бессмысленно-жестокий приказ штурмовать позиции немцев «в лоб», Харламов идет в атаку под пулеметным огнем вместе с солдатами.

Керженцев — свидетель последних минут его жизни: «Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутой глаза. Харламов... Мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые».

Батальон в этой атаке потерял двадцать шесть человек. «Мы хороним товарищей над самой Волгой», — пишет Керженцев.

Не потому ли эту необычную для тогдашней советской литературы книгу, в которой отчётливо чувствуется влияние западных авторов — Ремарка и Хемингуэя, — отметил Сталин, что в ней простодушно-ясно было сказано: одна из причин огромных человеческих потерь в страшной войне — самоуверенность и жестокость «обычных людей»... Таких, как Абросимов. Нет, дело не в одном «отце народов», абсолютно все солдаты и офицеры — творцы истории. Валега, ординарец Керженцева, романтический офицер Карнаухов, пишущий стихи, лихой разведчик Чумак, бесстрашный боец Седых...

Об этом же писал во внутренней рецензии автор «Василия Тёркина», главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский: «Первое очевидное достоинство книги — то, что, лишённая внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства о тяжелых и величественных днях борьбы накануне «великого перелома», простота и отчетливость повествования, драгоценнейшие детали окопного быта и т.п. —

все это качества, предваряющие несомненный успех книги у читателя. О ее существенном содержании можно сказать примерно так. Это правдивый рассказ о великой победе, складывавшейся из тысяч маленьких, неприметных приобретений боевого опыта и морально-политического превосходства наших воинов задолго до того, как она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот — литературно полноценный, своеобразный, художнически убедительный...»

И, конечно, после прочтения книги мне стала понятна убежденность отца: младший лейтенант Харламов так похож на его брата! Правда, у Иосифа не было жены и сына — Керженцев видит их на фотографии, которую он вытащил из брючного кармана убитого офицера. Но, как знать, может, этот эпизод как раз и сочинен писателем?

В середине 1990-х я приехала по работе в Волгоград. Августовский день клонился к вечеру, у меня было несколько часов свободного времени, и я решила побывать на Мамаевом кургане. Помню, как долго, очень долго, я поднималась на его вершину. Небо на острие меча монумента Родине-матери клубилось тяжелыми, свинцовыми тучами, реяли бетонные одежды на женщине-богине. Волга внизу казалась только что вспаханным полем. Я содрогнулась, увидев неподвижные красно-коричневые воды — казалось, что они всё еще несут человеческую кровь. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, и они победили смерть!», — черной краской от руки было выведено на плитах дебаркадера.

Потрясенная, я спустилась в огромный круглый зал у подножья монумента. Сумрачно, словно в царстве Аида. Пылает вечным огнем факел, который держит поднимающаяся из недр кургана бетонная рука. Отсветы пламени скользят по залу. На стенах, словно распятые знамена, каменеют красные скрижали. Мелкими золотыми буквами, в несколько тесных рядов, грудятся фамилии погибших. Их очень много, этих красных плит. Их очень много, этих золотых списков...

Мои попытки найти фамилию дяди не увенчались успехом — я не успела просмотреть все имена погибших до темноты.

...Тогда я не знала, что мне ещё предстоит вернуться на сталинградскую землю, что неожиданно, как знак судьбы, наша семья получит горькое известие из прошлого...

* * *

«Вернувшись в Киев, раненый Вика сперва был в госпитале, потом получал пенсию 500 руб. Ничего не делал, ни одного пайка не хотел сам получать, все я как сумасшедшая бегала — получала пайки в трех-четырёх магазинах за троих! (...) Писал по ночам свою повесть о войне, и на один керосин для его лампы тратил 400 руб. Вы поймите: из 500 руб. пенсии 400 на керосин! Все теперь смеются: «Помните, когда Вы ужасались — 400 руб. на керосин (при 500 руб. пенсии!), а ведь он за эту повесть сотни тысяч получил!»

Этот пристрастный комментарий оставила родная тетка писателя. Жизнь Некрасова с рождения до смерти Софьи Николаевны Мотовиловой прослеживается в весьма точных деталях. «Тетка-биограф» и сама была писателем — на девятом десятке лет её мемуары «Минувшее» вышли в «Новом мире». Софья Николаевна вела подробный дневник и обширную переписку. Её отношение к знаменитому племяннику — требовательная любовь; ещё бы, ведь она знала Некрасова не только с парадной стороны. Это читателям и друзьям писатель несет лучшие дары своей души — близким достается изнанка жизни.

У Софьи Николаевны были зарубежные адресаты — сестра Вера Николаевна и ее муж Николай Ульянов, которые жили в Швейцарии ещё с дореволюционных времен. Мотовиловы — древний дворянский род, много послуживший России. Мать писателя, Зинаида Николаевна, которую Вика (так звали Некрасова друзья и близкие) нежно любил, медицинское образование получила за границей. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, банковским служащим Платоном Феодосьевичем Некрасовым. Будущий писатель был вторым ребенком в семье, родился он в 1911 году в Киеве, но первые четыре года провел за границей — в Лозанне и Париже.

В 1915 году семья Некрасовых вернулась в Россию — в Европе бушевала Первая мировая война. Жизнь на родине началась с трагедий — вскоре отец Вики внезапно умер от разрыва сердца, а во время Гражданской войны трагически погиб старший сын Некрасовых — восемнадцатилетний Коля. Его заповороли шомполами красные в Миргороде, заподозрив в юноше, прекрасно говорившем по-французски, иностранного шпиона... Софья Николаевна считала, что Коля был одаренней младшего брата — он прекрасно рисовал, пробовал себя в литературе.

Воспитывали будущего сталинского лауреата три женщины — бабушка, мать и тётка. Они и на кладбище в Киеве лежат теперь рядом. Последней умерла Зинаида Николаевна, в 1970 году. Вика нежно любил мать, возил её с собой практически во все дома творчества для советских писателей. Летом это был Крым — Ялта или Коктебель, зимой — подмосковная Малеевка. А ещё — Комарово, Дубулты, Паланга... Закоренелый холостяк Некрасов женился лишь после смерти матери. Знаменательное событие произошло незадолго до отъезда в эмиграцию, а избранницей стала давняя знакомая Галина Базий. Пасынок писателя, Виктор Кондырев, стал еще одним биографом Некрасова, написав воспоминания «Всё на свете, кроме шила и гвоздя», охватывающие в основном зарубежный период.

* * *

И всё же главное свидетельство о Некрасове — его собственные книги. Читая их, будто шагая по ступеням, можно проследить путь писателя, понять, что волновало его, мучило, составляло радость и боль жизни. Вершиной творчества так и осталась повесть «В окопах Сталинграда», безусловный шедевр военной прозы, намного опередивший другие пронзительные книги о войне. «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева пришли к читателю в 1957 году, «Убиты под Москвой» Константина Воробьева и «Третья ракета» Василя Быкова — в 1963, «На войне как на войне» Виктора Курочкина — в 1965... Это были небольшие по объему книги-свидетельства, необычайно достоверные, честные, написанные с большой художественной силой. Произведения вчерашних фронтовиков называли «лейтенантской прозой», «окопной правдой».

Волею судеб Некрасов оказался основоположником этого течения.

Тому есть несколько причин. Когда «Вика начал жечь керосин», создавая повесть, а произошло это к концу войны — капитана-сапера демобилизовали из армии после тяжелого ранения, он был уже зрелым, сложившимся мужчиной — ему исполнилось тридцать четыре года. До войны Некрасов получил неплохое образование, окончив архитектурный факультет строительного института и театральную студию при Киевском театре русской драмы. Впрочем, тетка-биограф скептически относилась к его начитанности и кругозору: «Я очень люблю Тургенева, а мой

племянник не может его читать. Он знает из него лишь то, что проходили в школе. <...> Иностранной литературы он совсем не знает, об истории, по-моему, понятия не имеет. Она ведь у нас была упразднена, когда он учился».

Что ж, мировая история вершилась на полях Великой Отечественной, а история русской литературы — в киевской коммуналке, где Некрасов писал по ночам свою книгу. Но уже в 1950 году писателю-фронтовику, находящемуся в зените славы и в расцвете таланта, власти выделяют отдельную квартиру на Крещатике, куда он переедет вместе с Зинаидой Николаевной. Теперь на фасаде дома номер 15 мемориальная доска, а тогда тётка недоумевала: её знаменитый племянник отказался от четырехкомнатной квартиры! Из боязни, что к нему, человеку компанейскому, непрактичному, заселятся друзья с семьями.

Впрочем, и в двух комнатах у Некрасова постоянно кто-то гостил. Иногда — годами. Софья Николаевна называла такой образ жизни «Вишнёвым садом» в советском быте, и всячески обличала в своих корреспонденциях писательских приживал, которые не только ели-пили за счет благодетеля, но и зачастую ходили в его одежде.

Квартира Некрасова стала одной точек сбора киевской богемы. Здесь бывали не только литераторы, но и московские гости, иностранные корреспонденты, киношники... Некрасову, прошедшему через огонь и воду великой войны, предстоял нелёгкий поход через «медные трубы».

* * *

«Бесспорно, он не знал жизни народа, как и вообще все писатели, его современники», — скажет о Некрасове в своих воспоминаниях Виктор Кондырев. Ну, насчет всех — это явный перехлёст. Разве писатели-фронтовики Иван Акулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов не знали жизни? Ведь все трое «деревенщики», тяжелый труд русского мужика был знаком им с детства.

А вот Некрасов, да, жил в юности без особых забот. Софья Николаевна возмущалась: «До двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал. <...> Мама его обожала и негодуяще говорила мне: «Что ты от Вики хочешь? Твой отец никогда не зарабатывал, твой дед не зарабатывал, отчего же Вике зарабатывать?». При том, что выживала семья бывших «помещиц» нелегко — и материально, и морально. Но 1937 год, например, тогда прошел мимо сознания интеллигента Некрасова. Зато принципиальная тетка, «борец против вредительства», много раз писала в Москву по поводу творящегося вокруг произвола и вовсю обличала «воинствующий идиотизм» власти. Отзвуки времен «культы личности» появятся позже — в повести «Кира Георгиевна», вышедшей в 1961 году.

И все же сказать, что Вика совсем не знал жизни, нельзя. Оказавшись в окопах Сталинграда, в круговерти кровавой стихии, где во всю мощь поднималась «дубина народной войны», он как человек художнически-чуткий (всю жизнь Некрасов рисовал и был весьма увлечен фотографией) оказался всерьез захвачен этой грандиозной силой. И под влиянием исключительных внешних обстоятельств написал свою знаменитую повесть.

На войне Некрасов вступил в партию, хотя прежде никогда не интересовался политикой. Инерция «погружения в народ» была столь велика, что и в следующей его вещи, повести «В родном городе» (опубликована в «Новом мире» в 1954 году), она сохранилась. Рассказывая о фронтовике Николае Митясове, трудно входящем

в послевоенную жизнь, Некрасов даёт то же разнообразие характеров, впечатлений, деталей быта...

Отрыв от реалий пришел вместе с материальным благополучием. Жизнь писателя и «народных масс» стали резко различаться: Некрасову не нужно было ходить на службу, думать об улучшении жилищных условий и содержании семьи. Огромные тиражи, щедрые гонорары, отдых в домах творчества, экранизации книг, поездки по стране и за границу — в том числе во Францию, Италию, США; в сущности, по сравнению с «простым советским человеком» он оказался почти в «коммунизме».

Изменилось и окружение: место «окопного братства» заняла киевская и московская интеллигенция. Правдолюбивая Софья Николаевна извещала, что все друзья у Некрасова «исключительно евреи, и, кажется, самый еврейский акцент у самого Вики». В нарочитом «юдофильстве» сестры и племянника Мотовилова видела ненатуральность, подчинённость интеллектуальной моде, и считала их поведение комичным: «Зина рассказывает: "Вика был сегодня на кладбище". Знакомая спрашивает: "На каком, на Байковом?" Зина с достоинством отвечает: "Вика бывает только на еврейском кладбище"».

На Байковом кладбище была похоронена бабушка писателя, для которой Вика был любимый внук... Некрасов, действительно, много сделал для увековечивания памяти евреев, расстрелянных в 1941 году фашистами в Бабьем Яру, в урочище на северо-западе Киева. А вот в эмиграции писатель будет тяжело переживать охлаждение со стороны прежних друзей, оставшихся в СССР. Для большинства из них он просто перестанет существовать — ни короткой открытки в праздник, ни телефонного звонка. «Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья», — напишет он в своей эмигрантской «Маленькой печальной повести».

Особенностью творческого дара Некрасова было то, что он не обладал сильной художественной волей. «Профессиональным литератором не считаю себя и сейчас», — написал он в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы». Эту же мысль он развил в разговоре с другом: «Я войне должен быть благодарен... Если бы не война, вряд ли бы стал писателем. У меня нет воображения, мне трудно придумывать. Я могу писать только о том, что пережил или видел своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник».

Что ж, продолжим эту мысль: среда определяла и творческое, и гражданское поведение Некрасова. Если бы не война, он бы не стал писателем. Если бы не либеральное окружение («самое важное в жизни — это друзья»), он бы не превратился в эмигранта.

...Чего же не хватало «сливкам общества» и «совестям нации» в советское время? По большому счёту, только одного: свободы. Свободы передвижения, свободы печати, свободы совести. Но мало кто задумывался о «цене вопроса», которую придется заплатить за эти высокие сущности. Главное — сбросить ненавистные путы советской бюрократии, а уж остальное как-нибудь наладится.

* * *

— Сталинград, — сказал мне офицер Сергеев, обводя рукой окружающие нас руины.

Мы стояли возле БТРа на площади «Минутка» в Грозном. Бои здесь шли с исключительным упорством, развалины несколько раз переходили из рук в руки.

Жуткое впечатление оставлял этот город. Есть такое выражение — «дух смерти». Сожженные остовы многоэтажных домов. Вывернутые рамы. Всюду битый шифер, стекло. Перевернутые ларьки, деформированные так, будто их сжимал гигантский кулак. Остатки былых лозунгов: «Наша цель — коммунизм» и магазинных вывесок — «Овощи-фрукты», «Хлеб». Разум отказывался понимать, что перед тобою — город. Что здесь жили люди.

На одной из разрушенных стен чудом уцелела ржавая довоенная табличка — «Пошив кепок». Но где эти кепки и где эти головы? Руины Дворца пионеров, обкома партии, центрального универмага. Руины, не поддающиеся описанию.

Десятки тысяч убитых в Чечне, сотни тысяч ограбленных и бездомных беженцев, наша нынешняя бюджетная дань Кавказу — тоже плата за свободу. Конечно, можно сказать, что раскачивая СССР, диссиденты «хотели как лучше», а получилось как всегда, что им виделся белый и пушистый «бескровный путь», но зомбированный советский народ свернул не в ту сторону и т.д.

Но откуда «властители дум» знали, как лучше, если они не знали жизни большинства?! Отпадение от народа, как в материальном, так и в нравственном смысле, опасно для художника. Поводыри теряют ориентиры — слепые ведут слепых.

* * *

Творческий путь Виктора Некрасова — пологий спуск с вершины, с высоты повести «В окопах Сталинграда». Поэт Владимир Корнилов оставил такое свидетельство: «Человек в нем был куда ярче и занятней, чем прозаик. Вика скорее подходил на героя добротного романа, чем на его автора. <...> в Вике было пропасть комического, вернее, трагикомического».

У писателя часто спрашивали, почему он не перебрался в Москву, где приятелей у него гораздо больше, чем в Киеве. «Потому что тут я первый парень на деревне», — простодушно отвечал Некрасов. Он был местной знаменитостью, и до поры до времени ему многое сходило с рук. «Конечно, он уже тогда крепко выпивал... Слышала рассказы взрослых о том, что он мог выйти подшофе на Крещатик и кричать: "Долой Советскую власть!" Но его не трогали — лауреат!», — вспоминала одна из его знакомых.

Тетка-биограф сделала, как всегда, категоричный вывод: «Вика на войне научился пьянствовать». Софья Николаевна вообще отличалась повышенной принципиальностью и говорила: «не поклонница я Викиного таланта, но на безрыбье и рак рыба. Все-таки это один из наиболее талантливых у нас писателей. Молодежь у нас ужасно его любит». Впрочем, иногда она смягчалась: «...пишет он хорошо. Вы поглядите, как легко его читать».

В 1950-60-е годы главный жанр творчества Некрасова — путевые и городские очерки. Писал он их с удовольствием и увлечением, его признание в любви Парижу в книге «Первое знакомство» до сих пор не потеряло очарования. Впрочем, на всех не угодишь: очерки «По обе стороны океана» (1962), повествующие об американской жизни, Софья Николаевна назвала поверхностными и легкомысленными, увидев в них невероятное «ячество», которое, по её мнению, было свойственно племяннику.

Руководитель советского государства Никита Хрущев отнесся к зарубежным заметкам Некрасова гораздо строже, заклеив автору за «совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип», выразившийся в якобы комплиментар-

ном описании американской архитектуры, и высказал мнение, что от таких людей партия должна избавляться. Вскоре, впрочем, партия отправила на пенсию самого Хрущева. Но до этого радостного события писатель пережил немало тяжелых и горьких дней: ему предлагали покаяться, он искренне недоумевал — «в чем?», застопорились его издательские дела, да и строгий выговор по партийной линии за несуществующую вину не прибавил ему любви к советской власти.

С другой стороны, мало ли кого ругал Хрущев?! Например, Андрея Вознесенского. И что?! Это только добавило поэту популярности. Евгений Евтушенко сочинил о Бабьем Яре целую поэму, но никто не обвинял его в организации «сионистских сборищ». Изрядное вольнолюбие в творческом подведении позволял себе бард Булат Окуджава. И т.д., и т.п. Удивительное дело: этим и другим приятелям Некрасова советская власть прощала гораздо большие «грешки», чем сталинскому лауреату. Мудрые его друзья умели ладить с цэкистами и кэгэбистами, обращать свои кратковременные поражения в долгосрочные победы, быть, когда надо, политкорректными. Они привозили из заграниц полные баулы тряпья (Некрасов все деньги тратил на книги и дорогие альбомы по искусству), и вообще друзья «умели жить», чему «трагикомический» Вика так и не научился — до самой смерти.

Нет, никаким идейным «антисоветчиком», по крайней мере, до своего отъезда в эмиграцию, он не был. Об этом и его недоумевающий памфлет «Кому это нужно?», написанный в марте 1974 года и распространённый в самиздате. В сущности, это грустная, безо всякого «ячества», автобиография. Некрасов всё ещё ищет возможности примирения и диалога с властями — даже после исключения из партии, даже после 42-часового обыска в квартире по надуманной причине, даже после унижительных допросов в «органах».

Потом Некрасов напишет письмо Леониду Брежневу и попросит разрешения на выезд. Формальный повод — повидать в Швейцарии родственника, Николая Ульянова. Разрешение ему дадут. Но писатель понимал, что это — билет в одну сторону. В СССР он больше не вернется.

* * *

Жалел ли он, что уехал? Во всех его эмигрантских писаниях можно встретить настойчивую идею — нет, ни в коей мере. Он обрел свободу, объехал множество стран, его материальные дела тоже, в общем-то, устроились, хотя за границей пенсионеру Некрасову пришлось работать — в журнале «Континент», на радио «Свобода». Жил он в пригороде Парижа. В съемной квартире попытался воссоздать киевскую обстановку — с помощью фотографий, картин, мебели...

Да, Некрасов писал, что ни о чем не жалеет, но между строк мне читается другое — не надо было ему уезжать!.. В его советских книгах, искореженных цензурой, как ни странно, больше правды, поэтичности, очарования, чем в зарубежных, написанных в условиях вожделенной свободы. Потому что раньше его волновало чувство, а теперь — «тенденция», «ориентация». Он должен был оправдать, хотя бы перед самим собой, сделанный выбор. Но, как замечает Виктор Кондырев, «Вика далеко не сразу понял, что свобода слова не имеет ничего общего с правдой».

К началу 1980-х писатель уже слегка разочарован Францией, демократией и забастовками. Свобода передвижения? Но три четверти французов никогда не покидают родину — у одних нет желания, у других — возможностей. Свобода советсти? Некрасов — атеист, к религии он равнодушен.

Перед ним открыт весь мир, «кроме СССР и его сателлитов». Но теперь он хотел бы побывать в Киеве, на Байковом кладбище, где похоронены мать, бабушка, тетка. Некрасов пишет советскому послу. Ему даже не отвечают.

«Одним словом, жизни ему не хватало! Той жизни, в Союзе!» — восклицает Виктор Кондырев. Но родина потеряна для Некрасова навсегда. Раньше его читали миллионы, теперь тысячи. Прежде он принадлежал всему народу, теперь — слушателям «Свободы». Встретившись в Париже с писателем Виктором Конечким, Некрасов признается в беседе с ним, что да, за этим радио стоят деньги ЦРУ.

В сущности, внятного ответа на вопрос, хорошо ли желать родине крушения, если лично тебе — плохо, русская эмиграция всех четырех «волн» так и не дала. Одно можно сказать определенно: народ — творец истории, из своей среды он выдвигает правителей и полководцев, писателей и художников. Творческая и научная интеллигенция в такой же мере, как и управленческая бюрократия, несет ответственность и за наши победы, и за поражения. Бесславная гибель СССР — результат взаимного малоумия: власть защищала догматические «основы», интеллигенция боролась за «свободу». А народ провалился в яму между этими двумя сущностями. И не выбрался оттуда до сих пор...

Виктор Некрасов умер от рака лёгких. Его похоронили на русском кладбище под Парижем в чужой могиле — не было мест. Потом перезахоронили: и после смерти он оказался «путешественником». На надгробии его — осколок снаряда, подобранный на Мамаевом кургане.

* * *

В июне 2005 года отряд «Стальное пламя», состоящий из старшеклассников, студентов и казаков, вел раскопки недалеко от станции Абганерово, где в августе 1942 года шли жестокие бои, описанные в повести «В окопах Сталинграда». В степи, в одной из балок, поисковики обнаружили страшную картину: вокруг блиндажей — ручки от немецких гранат, доски настигиваны осколками, множество стреляных гильз, пустые ящики от пулёмётных лент.

Работа в архивах, тщательное сопоставление документов и найденных вещей (в сумке офицера НКВД отлично сохранились войсковые печати) позволили поисковикам сделать вывод — обнаружен разгромленный штаб 126-й стрелковой дивизии. Она прикрывала отход 64-й армии на двенадцатикилометровом участке фронта, в голой, без единого кустика, степи. Одна, изрядно обескровленная в предыдущих боях, советская дивизия держала оборону против пяти немецких — двух танковых, двух пехотных и одной моторизованной.

Жаркий, полынный, кровавый день 29 августа. Три мощных атаки с авиабомбежками и артподготовкой выдержали защитники Сталинграда. Погибли командиры полков, подошли к концу боеприпасы. В 14.30 немцы ударили в четвертый раз... Сражался даже штаб дивизии, и на поле боя остался почти весь личный состав. Часы у офицеров остановились примерно в одно время — в 15.20. Один из лейтенантов так и погиб — с гранатой в руках.

В расположении штаба были найдены останки более сорока человек. Здесь, как выяснили поисковики, и погиб мой родной дядя — техник-интендант, младший лейтенант Иосиф Харламов.

Его прах и останки других бойцов и офицеров, защитников Сталинграда, похоронили с воинскими почестями на хуторе Верхне-Кумский в мемориальном комплексе «Стальное пламя».